

РОМЕН
РОЛЛАН



Жан-Кристоф
Том 2



МОСКВА

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
Р67

Romain Rolland
JEAN-CHRISTOPHE

Перевод с французского
*Натальи Касаткиной, Веры Станевич,
Софии Парнок, Марии Рожицыной*

Примечания *Приньы Лилевои*

Оформление серии *Н. Ярусовои*

Роллан, Ромен.

Р67 Жан-Кристоф. Том 2 / Ромен Роллан ; [перевод с французского Н. Касаткиной, В. Станевич, С. Парнок, М. Рожицыной]. — Москва : Эксмо, 2025. — 960 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-206210-0

«Жан-Кристоф» — это масштабный роман-эпопея Романа Роллана, повествующий о жизни и духовных поисках талантливого музыканта Жана-Кристофа Крафта.

В девяти томах автор прослеживает путь главного героя от детства до зрелости, рассказывает о борьбе с трудностями и стремлении к свободе, самовыражении через музыку. Главный герой бесконечно борется за собственную идентичность и место мире.

Роман не только повествует о судьбе отдельного человека, но и отражает изменения европейского общества на рубеже XIX и XX веков. Роллан исследует вопросы искусства, гения, дружбы и любви и противопоставляет индивидуальность общественным нормам.

«Жан-Кристоф» — это гимн человеческому духу, творчеству и внутренней свободе.

**УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44**

- © Н. Касаткина, перевод на русский язык, наследники, 2025
- © В. Станевич, перевод на русский язык, наследники, 2025
- © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

ISBN 978-5-04-206210-0

КНИГА ШЕСТАЯ

АНТУАНЕТТА

Жанены принадлежали к числу тех старых французских семей, которые веками живут в одном и том же захолустном уголке и хранят чистоту рода от посторонних вторжений. Несмотря на перемены, происшедшие в обществе, таких семей во Франции больше, чем можно предположить. Они сами не сознают, какими глубокими корнями росли в почву, от которой их может оторвать только сильная встряска. В этой их привязанности соображения рассудка не играют никакой роли, соображения выгоды — очень малую, а умиление перед исторической стариной свойственно лишь кучке просвещенных литераторов. Но всех, как самых невежественных, так и самых образованных, связывает одинаково неразрывными узами глубокое и могучее чувство, подсказывающее им, что они испокон веков — частица этой земли, живут ее жизнью, вдыхают ее воздух, слышат у своей груди биение ее сердца, как два существа, лежащие рядом на общем ложе, улавливают каждое ее содрогание, малейшие оттенки, которыми отличаются друг от друга часы суток, времена года, погожие и хмурые дни, голоса и молчание природы. При этом и местность может быть не из самых красивых, и живет там не очень легко, но к ней при-

вязываешься тем крепче, чем проще, чем смиреннее там природа, чем ближе она к человеку и чем яснее говорит ему родным, задушевным языком.

Такой была провинция в самом сердце Франции, где обитали Жанены. Плоский болотистый край, старинный сонный городок, который со скукой глядится в мутную, застоявшуюся воду канала; а кругом — пашни, луга, ручейки, обширные леса, однообразные поля... Ни живописного вида, ни навевающего воспоминания памятника старины. Ничто здесь не привлекает. И все привязывает. В таком застое, в таком оцепенении есть скрытая сила. Впервые столкнувшись с ними, ум человеческий страдает и возмущается. Но кто из поколения в поколение жил под воздействием этой силы, тот уже не может стереть ее отпечаток: она вошла в его плоть и кровь; эта неподвижность, эта баюкающая скука, это однообразие полны для него чарующей прелести, в которой он не отдает себе отчета, которую даже отрицает, но любит и не забудет никогда.

Жанены жили здесь с незапамятных времен. Их род удалось проследить в архивах города и окрестностей вплоть до XVI века благодаря неизбежному двоюродному дедушке, который посвятил свою жизнь составлению родословной этих безвестных тружеников: крестьян, деревенских ремесленников, а позднее сельских писцов и нотариусов, в конце концов осевших в субпрефектуре округа, где Огюстен Жанен, отец нынешнего Жанена, преуспел в качестве банковского дельца; это был человек ловкий, по-крестьянски упорный и с хитрецей, в общем честный, но без чрезмерной щепетильности, неутомимый работник и прожигатель жизни; своим лукавым добродушием, прямоотой и богатством он умудрился внушить к себе почтение и страх на десять лье в окруж-

ности. Приземистый, коренастый, кряжистый, с мясистым, красным, в оспинах лицом и быстрыми глазками, он в молодости слыл большим любителем слабого пола, да и под старость не совсем утратил вкус к женщинам. Он любил вольные шутки, любил хорошо поесть. Стоило посмотреть на него за столом в обществе его сына Антуана и нескольких старых приятелей того же пошиба — мирового судьи, нотариуса, настоятеля собора (старик Жанен вел яростную кампанию против церкви, но охотно водил компанию со служителями церкви, если те были люди компанейские): все это были молодцы точно на подбор, как и подобало землякам Рабле. Гул стоял от забористых острот, от стука кулаками по столу, от раскатов хохота. Их безудержное веселье передавалось прислуге на кухне и соседям на улице.

Но однажды в знойный летний день старик Огюстен вздумал спуститься в погреб без пиджака, чтобы самому разлить вино по бутылкам, и схватил воспаление легких. В одни сутки убрался он в иной мир, в который не очень-то верил, напутствуемый надлежащими церковными таинствами, как и полагается провинциальному буржуа-вольнодумцу: в последнюю минуту он на все готов был согласиться, лишь бы бабье к нему не приставало, тем более что самому-то ему наплевать... А кстати, кто знает...

Сын Антуан наследовал ему в делах. Это был веселый, румяный, низенький толстяк, бритый, с бакенбардами, очень подвижный, шумливый; говорил он быстро, глотая слова и отрывисто жестикулируя. Он не обладал коммерческими способностями отца, но не лишен был хозяйственной жилки. Впрочем, достаточно было спокойно продолжать начатое до него дело, чтобы оно шло своим ходом и процветало само по себе. В местных кругах Антуана считали дельным человеком, хотя, гово-

ря по совести, роль его была самая незначительная; он способствовал преуспению предприятия только своей методичностью и усердием. В общем, он был человек в высшей степени почтенный и всюду пользовался заслуженным уважением. И в городке, и в окрестных деревнях он снискал себе прочную популярность приветливостью и простотой манер, кое-кому казавшихся чересчур панибратскими, развязными и грубоватыми. В деньгах он не был расточителен, но в чувствах — щедр непомерно. Он легко пускал слезу и при виде чужой беды так бурно выражал свое огорчение, что неизменно потрясал пострадавшего. Как и большинство обитателей городка, Антуан увлекался политикой. Он был до крайности умеренным республиканцем и при этом ярким либералом, патриотом и, по примеру отца, рьяным антиклерикалом. Он состоял в муниципальном совете, и для него вкупе с коллегами не было лучшего удовольствия, как насолить приходскому священнику или суровому проповеднику, приводившему в восторг местных дам. Кстати, не следует забывать, что антиклерикализм французских провинциальных городков по большей части бывает одним из видов домашней войны, замаскированной формой той глухой и жестокой борьбы между мужьями и женами, которая неизбежна почти в каждой семье.

Антуан тяготел и к литературе. Как все провинциалы его поколения, он был воспитан на латинских классиках, из которых заучил наизусть несколько страниц и множество пословиц, на Лафонтене и Буало — на Буало «Поэтики» и, главное, «Налоя», на авторе «Девственницы»¹, а также на *poetae minores*² французско-

¹ Речь идет о Вольтере, его поэма «Орлеанская девственница», написанная в героико-комическом стиле, — яркий памятник просветительского свободомыслия XVIII века.

² Второстепенных поэтах (*лат.*).

го XVIII века и пытался подражать им в своих стихотворных опусах. В своем кругу не он один страдал этой склонностью, возвышавшей его в глазах знакомых. В городе повторяли его стихотворные шутки, четверостишия, буриме, акростиhi, эпиграммы и куплеты, зачастую несколько вольные, однако не лишённые довольно плоского юмора. Тайны пищеварения при этом отнюдь не были забыты. Муза прилуарских краев охотно трубит в рог на манер знаменитого дантовского дьявола:

Ed egli avea del cul fatto trombetta...¹

Этот крепкий, жизнерадостный и деятельный толстяк женился на женщине совершенно иного типа — на дочери местного судейского чиновника, Люси де Вилье. Все де Вилье или, вернее, Девилье — их фамилия разделилась с течением времени, как раскалывается надвое камень, скатившийся с холма, — итак, все де Вилье из поколения в поколение служили по судебному ведомству и принадлежали к той старинной породе французских парламентариев, для которых священно понятие закона, долга, общественных приличий, личного, а тем более профессионального достоинства, подкрепленного безупречной честностью с легким привкусом самодовольства. В предшествовавшем веке они набрались фрондирующего янсенизма, от которого у них остались отвращение ко всякому иезуитству и какая-то брюзгливая разочарованность. Жизнь представлялась им в мрачном свете, и они отнюдь не старались сглаживать житейские невзгоды, а, наоборот, рады были нагромоздить новые, лишь бы иметь право брюзжать. Люси де Вилье унаследовала кое-какие из

¹ А тот трубу изобразил из зада (*итал.*). — Данте, «Божественная комедия», «Ад», песнь XXI.

этих черт, прямо противоположных несколько примитивной жизнерадостности своего мужа. Это была женщина высокого роста, на голову выше мужа, худощавая, стройная, одевалась она со вкусом, но, пожалуй, слишком строго, словно умышленно старалась казаться старше своих лет; сама по натуре глубоко нравственная, она была крайне требовательна к другим, не прощала не только проступков, но даже промахов и слыла холодной и высокомерной. Она отличалась большой набожностью, что служило поводом для вечных раздоров между супругами. Вообще же они были очень любящей четой, и хотя часто ссорились, но жить друг без друга не могли. Оба были равно лишены практической сметки — он от неумения разбираться в людях (его ничего не стоило провести умильным видом и пышными фразами), она — от полной неопытности в деловых вопросах (ее всегда держали в стороне от дел, и она привыкла не интересоваться ими).

У четы Жаненов было двое детей: дочь Антуанетта и сын Оливье, моложе сестры на пять лет.

Антуанетта была хорошенькая брюнетка с приветливым, простодушным личиком чисто французского типа — округлый овал, блестящие глаза, выпуклый лоб, изящный подбородок, прямой носик, — «тонкий нос благородства необычайного (как галантно выражается один из старых французских портретистов), каковой чуть приметно морщился и оживлял все лицо, указывая, сколь тонки были чувствования молодой особы, когда она благоволила говорить или слушать». От отца Антуанетта унаследовала жизнерадостность и беспечность.

Оливье был хрупкий блондин небольшого роста, как отец, но совсем иного характера. В детстве он подолгу серьезно хворал, отчего здоровье его пошатнулось, и, хотя домашние всячески холили его, он с ранних лет

стал вялым, задумчивым мальчуганом, боялся смерти и был беззащитен перед лицом жизни. Рос он одиноко: от природы нелюдимый, он сторонился и дичился сверстников — ему было с ними не по себе; их игры и драки его отталкивали, их грубость приводила в ужас. Он терпел их побои не от недостатка храбрости, а от застенчивости: он боялся защищаться, чтобы не сделать кому-нибудь больно. Мальчики совсем бы его замучили, если бы не положение отца. Оливье был очень нежным и болезненно чувствительным ребенком: малейшее слово, ласка, упрек доводили его до слез. Сестра, натура более здоровая, чем он, дразнила его, называла «Фонтанчик».

Брат и сестра горячо любили друг друга, но они были слишком разными, чтобы жить одной жизнью. Каждый шел своим путем, увлекаемый своей мечтой. Антуанетта с возрастом все хорошела; ей об этом говорили, она и сама это знала, радовалась и уже видела себя в будущем героиней романов. Тщедушного меланхолика Оливье коробило всякое соприкосновение с внешним миром, и он искал прибежища в своем глупеньком ребяческом воображении, рассказывая себе разные истории. У него была страстная, чисто женская потребность любить и быть любимым; живя одиноко, в стороне от сверстников, он создал себе двух-трех вымышленных друзей: одного звали Жан, одного Этьен, а еще одного — Франсуа; он был постоянно с ними, а не с теми, кто его окружал на самом деле. Спал он мало и вечно о чем-то грезил. Утром, когда его удавалось поднять с постели, он задумывался, свесив с кровати голые ножки или же натянув оба чулка на одну ногу, что тоже случалось нередко. Он задумывался, погрузив обе руки в умывальный таз. Он задумывался за партой, не дописав строчки или заучивая урок; он часами витал

в мечтах, а потом вдруг с ужасом обнаруживал, что не успел ничего выучить. Когда его окликали за обедом, он пугался и отвечал не сразу, а начав говорить, забывал, что хотел сказать. Он жил в полудреме, убаюканный своими детскими думами и однообразными, привычными впечатлениями медленно текущей провинциальной жизни: большой пустынный дом, половина которого была необитаемой; огромные, страшные подвалы и чердаки; наглухо запертые, таинственные комнаты с закрытыми ставнями, с мебелью в чехлах, с завешенными зеркалами, закутанными люстрами; старинные фамильные портреты с застывшими улыбками; гравюры времен Империи — смесь игривой добродетели и героизма — «Алкивиад и Сократ у куртизанки», «Антиох и Стратоника», «История Эпаминонда», «Нищий Велизарий»; снаружи — с той стороны улицы — грохот кузни, скачущий ритм молотов, тяжкие, прерывистые вздохи кузнечного меха, запах паленого рога, стук вальков на берегу, где прачки полощут белье, глухие удары топора, доносящиеся из мясной лавки в соседнем доме, цоканье лошадиных копыт по мостовой, скрип колдца, лязг разводимого моста на канале, тяжелые баржи, груженные штабелями дров, медленно тянущиеся на буксире мимо сада; мощеный дворик с небольшой клумбой, где среди поросли герани и петуний тянулись вверх два сиреневых куста; вдоль террасы над каналом кадки с лавровыми и гранатовыми деревьями в цвету; а в базарные дни — шум с площади, крестьяне в глянцеvitых синих блузах, визг свиней... По воскресеньям в церкви, как всегда, фальшивил певчий, и старик кюре дремал во время мессы; затем прогулка всей семьей по Вокзальному проспекту, где время проходило в обмене церемонными приветствиями с такими же страдальцами, тоже считавшими своим долгом гулять семьями, —

пока наконец дорога не выводила в озаренные солнцем поля, над которыми вились незримые жаворонки, или на берег сонного, подернутого рябью канала, по обоим берегам которого тянулись ряды тополей...

А потом парадные провинциальные обеды, где без конца ели и обсуждали еду с упоением и знанием дела; знатоками же были все, ибо чревоугодие для провинциала — важнейшее занятие, подлинное искусство. Говорили и о делах, рассказывали пикантные анекдоты; иногда заводили разговор о болезнях, не скупясь на подробности. Мальчуган сидел в своем уголке, тихонько, точно мышка, нехотя грыз что-нибудь, когда другие ели, и слушал, слушал. Ничто не ускользало от его внимания, а что ему случалось недослышать, он дополнял воображением. У него был удивительный дар, присутствующий отпрыскам старых семей, старых родов, на которых оставили свой след целые века, — дар угадывать мысли, ему самому пока что не приходившие в голову и едва ли даже понятные. И еще была кухня, где творились сочные и смачные чудеса; была старая нянюшка, которая рассказывала потешные и страшные сказки. А по вечерам — бесшумный полет летучих мышей, ужас перед копошащимися где-то в недрах старого дома чудовищами: жирными крысами, гигантскими мохнатыми пауками; вечером — молитва на коленях у кровати, когда сам не понимаешь, что бормочешь; дребезжание колокольчика в соседнем монастырском приюте, зовущего монахинь ко сну; и постель, островок грез...

Лучшим временем в году были весна и осень, когда семья жила в своей усадьбе, недалеко от города. Там можно было мечтать вволю: никто посторонний туда не заглядывал. Как и большинство буржуазных детей, брата и сестру держали подальше от престоляродья: прислуга и фермеры внушали им своего рода страх

и брезгливость. От матери они заимствовали аристократическое — или, вернее, чисто буржуазное — презрение к людям физического труда. Оливье проводил целые дни, примостившись среди ветвей ясеня, зачитываясь чудесными мифами, сказками Музеуса или г-жи д'Онуа, или «Тысячи и одной ночи», или же путешествиями, потому что его томила непонятная тоска по далеким краям — те мечты об океане, которые нередко обуревают юных обитателей французских захолустных городков. Густая зелень заслоняла от него дом, и он мог воображать себя где-то очень далеко. И в то же время ему было приятно сознавать, что он совсем близко: он не любил один удаляться от дома, — он чувствовал себя каким-то затерянным среди природы. Деревья колыхались вокруг. Сквозь чащу листвы он видел вдали желтеющие виноградники, видел луга, где паслись пестрые коровы, наполняя тишину засыпающих полей протяжным и жалобным мычанием. Петухи пронзительными голосами перекликались от фермы к ферме. Слышался неравномерный стук цепов на току. И среди невозмутимого покоя неодушевленной природы полным ходом шла лихорадочная жизнь великого множества живых существ. Беспокойным взглядом следил Оливье за вереницами озабоченных муравьев, за пчелами, отягощенными добычей и гудящими, точно орган, за спесивыми и глупыми осаами, которые сами не знают, чего хотят, — за этим мирком хлопотливых насекомых, жадно стремящихся куда-то. А куда? Им это неизвестно. Все равно! Куда-нибудь... Оливье пробирала дрожь среди этого слепого и враждебного мира. Он вздрагивал, как зайчонок, от шума упавшей шишки или треска сухого сучка. И сразу же успокаивался, услышав, как звякают на другом конце сада кольца качелей, на которых до головокружения качалась Антуанетта.

Она тоже мечтала, но на свой лад. Целыми днями рыскала она по саду, заглядывала во все уголки, смеялась, лакомилась, клевала виноград с кустов, как дрозд, потихоньку срывала с ветки персик, взбиралась на сливовое дерево или, проходя мимо, украдкой встряхивала его, чтобы на землю градом посыпалась золотая мирабель, тающая во рту, точно душистый мед. А то еще, несмотря на запрет, рвала цветы: сломает розу, которую облюбовала с утра, и убежит в беседку в конце сада. Там она жадно зарывалась носом в чудесно пахнущий цветок, целовала, кусала, обсасывала лепестки, потом прятала похищенное сокровище за корсаж платья между двумя маленькими грудями; с любопытством смотрела она, как они приподнимают распахнувшуюся кофточку. Другим упоительным и запретным наслаждением было снять башмаки и чулки и бродить босиком по мелкому прохладному песку аллеи, по росистой траве лужаек, по камням, ледяным в тени или раскаленным на солнце, и по дну ручейка, текущего вдоль опушки леса, — ласкать пятками, пальцами, коленями воду, землю, свет. Лежа в тени елей, она разглядывала свои пальцы, прозрачные на солнце, и бессознательно касалась губами атласистой кожи своих тонких и округлых рук. Она мастерила себе венки, ожерелья, платья из листьев плюща и дуба; вплетала в них лиловые цветы чертополоха, красные ягоды барбариса, еловые веточки с зелеными шишками. И, точно принцесса какого-то варварского племени, плясала вокруг фонтана, вытянув руки; она кружилась, кружилась до тех пор, пока у нее не начинала кружиться голова; тогда она с размаху опускалась на лужайку, прятала лицо в траву и звонко смеялась несколько минут подряд, не в силах остановиться, сама не зная, чему смеется.

Так брат и сестра проводили дни в двух шагах друг от друга, не интересуясь друг другом, — разве толь-

ко Антуанетте вздумается мимоходом подшутить над братом, бросить в него горсть сосновых игл, тряхнуть дерево, на котором он сидел, чуть не свалить его или напугать, внезапно выскочив с криком:

— У! У!..

Временами ее обурежала охота дразнить его. Желая сманить его на землю, она уверяла, будто мама зовет. А потом сама забиралась на его место и не желала слезать. Оливье хныкал, грозил пожаловаться. Но Антуанетта и сама не засиживалась на дереве — она не могла двух минут побыть спокойно. Вдоволь поиздевавшись над Оливье с высоты ясеня, доведя его до бешенства, чуть не до слез, она кубарем скатывалась вниз, накидывалась на него, смеясь, тормошила его, называла «простофилей» и бросала наземь, утирая ему нос пучками травы. Он пытался бороться, но у него не хватало сил. Тогда он затихал и с жалостно-покорным видом, не шевелясь, лежал на спине, как майский жук, раскинув худенькие руки, прижатые к земле крепкими кулачками Антуанетты. При виде побежденного и сдавшегося на ее милость брата Антуанетта смягчалась, со смехом порывисто целовала его и отпускала, не преминув на прощанье засунуть ему в рот пучок травы, чего он совсем не выносил, потому что был до крайности брезглив. Он плевался, вытирал рот, возмущался и негодовал, а она, смеясь, убегала со всех ног.

Она смеялась всегда. Смеялась даже ночью, во сне. Оливье, лежа в соседней комнате, рассказывал себе занимательные истории и хотя не спал, но вздрагивал всякий раз, как она принималась хохотать или бормотала бессвязные слова, нарушая ночную тишину. В саду под порывами ветра скрипели деревья, ухала сова, собаки выли в дальних деревнях и на фермах, затерявшихся

в лесу. В тусклом, мерцающем свете ночи Оливье видел, как за окном, подобно призракам, шевелятся тяжелые, темные ветви елей, и от смеха Антуанетты ему становилось спокойнее.

Оба они были очень набожны, в особенности Оливье. Отец смущал их своими антиклерикальными речами, но предоставлял им в этом смысле полную свободу и в глубине души, как многие неверующие буржуа, был даже доволен, что домашние веруют за него, — никогда не мешает иметь союзников в противном лагере, ведь трудно предугадать, чья возьмет. По существу, он был деистом¹ и не исключал возможности, когда пробьет час, позвать священника, по примеру отца: пусть пользы от этого нет, зато нет и вреда, — ведь страхуешься от огня, вовсе не думая, что обязательно должен случиться пожар.

У Оливье, мальчика болезненного, была склонность к мистицизму: временами ему казалось, что он уже перестал существовать. По натуре доверчивый и мягкий, он нуждался в опоре; ему доставляло мучительное наслаждение исповедоваться, доверяться незримому Другу, чьи объятия всегда раскрыты для тебя, кому все можешь сказать, кто все поймет и простит; он с восторгом погружался в эту купель, откуда душа выходит чистой, омытой и умиротворенной. Верить было для него настолько естественно, что он не понимал, как можно не верить, и видел в этом злую волю или кару божию. Он молился тайком, чтобы отца осенила благодать, и, когда они однажды вместе зашли в дере-

¹ *Деист* — последователь деизма, учения, признающего Бога лишь как первопричину всего существующего и отрицающего божественное вмешательство в жизнь людей, веру в чудеса и т. д.